

УДК 94

**У каждого своя Сибирь.**

**Биографическое интервью с Е. А. Буджаловым**

*Эльза-Байр Мацаковна Гучинова<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Калмыцкий научный центр РАН (д. 8, ул. И. К. Илишкина, 358000 Элиста, Российская Федерация)

доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник

ORCID: 0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

**Аннотация.** Эта публикация представляет собой текст записанного и транскрибированного текста, который был авторизован рассказчиком, внесшим в свой нарратив диалоги. Посвященное периоду депортации интервью с Е. А. Буджаловым отражает предвоенные годы в станице Батлаевской, период оккупации, жизнь семьи в Сибири, и позже — учебу будущей калмыцкой труппы в театральном институте, и наконец, обращение уже зрелого литератора к теме выселения калмыков в его творчестве. Особое место в повествовании занимает тема второй волны эмиграции и нравственные оценки участников тех событий. В спонтанном рассказе Е. А. Буджалова хорошо выражен язык травмы: его плотное описание сибирских лет насыщено сюжетами о голоде, смертях, самоубийствах, несчастных случаях на производстве, а также о падали как кризисной еде. Рассказчик предстает нам в разных ипостасях — как донской калмык-казак, оказавшийся под оккупацией и позже в Сибири, как артист и поэт, которого волновали важные сюжеты истории народа в творчестве, как редактор, который отслеживал тенденции депортационной тематики в калмыцкой литературной среде. Эта сложная оптика помогает лучше увидеть стратегии и тактики выживания калмыцкой семьи в депортационные годы и стратегии успешной карьеры калмыцкого интеллигента, главным качеством которого была искренность.

**Ключевые слова:** депортация калмыков, репрессии, Сибирь, нарратив, травматическая память, язык травмы, биографическое интервью

**Благодарность.** Исследование проведено в рамках государственной субсидии — проект «Комплексное исследование процессов общественно-политического и культурного развития народов Юга России» (№ госрегистрации: АААА-А19-119011490038-5).

**Для цитирования:** Гучинова Э.-Б. М. У каждого своя Сибирь. Биографическое интервью с Е. А. Буджаловым. Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2019; (1): 222-269. DOI: 10.22162/2587-6503-2019-1-9-222-269.

UDC 94

**‘Everyone’s Got His Own Siberia’:  
a Biographical Interview with Yegor A. Budzhalov**

*Elza-Bajr M. Guchinova*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kalmyk Scientific Center of the RAS (8, Ilishkin St., Elista 358000, Russian Federation)

Dr. Sc. (History), Leading Research Associate

ORCID: 0000-0002-9901-0131. E-mail: bairjan@mail.ru

**Abstract.** The paper transcribes a text recorded from and authorized by the interviewee who supplemented his narrative with a few dialogues. The interview with Ye. Budzhalov covers the pre-war years in Batlaevskaya stanitsa, the occupation period, and life of the family in Siberia, later – studies of would-be Kalmyk actors at the theatrical institute, and finally the turn of the mature writer to the theme of Kalmyk deportation. Special attention is paid to the ‘second wave’ emigration and moral appraisals of its participants. The spontaneous narrative of Ye. Budzhalov manifests the language of trauma: his concise description of the Siberian years is abundant in stories of hunger, deaths, suicides, workplace injuries, and carrion as crisis food. The narrator acts in various capacities – as a Don Kalmyk Cossack captured in the occupation area and later deported to Siberia, as a dramatic artist and poet interested in most significant ethnic historical plots, and as an editor who was to trace the deportation-related trends in Kalmyk literature. The set of perspectives proves instrumental in understanding the survival strategies and tactics of a Kalmyk family – and success career strategies of the Kalmyk intellectual distinguished by utmost sincerity.

**Keywords:** Kalmyk deportation, repressions, Siberia, narrative, memory of trauma, language of trauma, biographical interview

**Acknowledgements:** The reported study was funded by a government subsidy — project name ‘Socio-Political and Cultural Development of South Russia’s Peoples: a Comprehensive Research of Respective Processes’ (State Reg. No. AAAA-A19-119011490038-5).

**For citation:** Guchinova E.-B. M. ‘Everyone’s Got His Own Siberia’: a Biographical Interview with Yegor A. Budzhalov. *Bulletin of the Kalmyk Scientific Center of the RAS*. 2019; (1): 222-269. DOI: 10.22162/2587-6503-2019-1-9-222-269.

## Введение

В декабре 1943 г. калмыки были наказаны и высланы в восточные районы страны, преимущественно в Сибирь. Основные документы этой истории опубликованы в постперестроечное время [Бугай 1991; Ссылка 1993]. Я изучаю другую историю депортации калмыков — ту историю, которая живет в семьях и которая отражает сибирскую эпопею, исходя не из перспективы государства, в котором люди сравнимы с чечевицей, а из перспективы человека, в центре которой — человек и его жизнь со своими интересами и проблемами. Как отвечали калмыки тем испытаниям судьбы, которые приготовила для них советская власть в 1943 г.? Каковы были стратегии сопротивления и стратегии выживания неправых спецпереселенцев, которым вначале отказывали даже в человеческом статусе? Об этом можно узнать только из устных историй (см.: [Мещеркина 2004]).

Это интервью было записано мною в рамках проекта «У каждого своя Сибирь», в котором я собирала интервью с калмыками, имевшими личный опыт депортации (см.: [Гучинова 2005; Гучинова 2008; Гучинова 2019]). Выборка опрашиваемых не была случайной. В нее должны были войти мужчины и женщины, выселенные в разном возрасте или родившиеся в Сибири, проживавшие в разных районах выселения. Отдельная группа внутри выборки была представлена творческой интеллигенцией, которая, как известно, тоньше чувствует общественные потребности. Кроме поло-возрастного деления я учитывала этно-территориальный фактор, стараясь дать голоса представителям терских и оренбургских калмыков, дербетам, торгудам и донским калмыкам.

В этой связи следует отметить, что Е. А. Буджалов родился на Дону и его семья относилась к калмыкам — казакам Велико-

го Войска Донского (ВВД), значительная часть которого вошла в белое движение. Калмыки-казаки познали в полной мере тяготы гражданской войны в России, горечь поражения и эвакуации. Это о них писала в 1918 г. Марина Цветаева: «И в словаре задумчивые внуки За словом: долг напишут слово: Дон» [Цветаева 1994: 391]. Те, кто остался жить на Дону в 13 калмыцких станицах, пережив расказачивание, сохраняли верность Калмыцкому району ВВД, которые после декабря 1943 г. не будут заселены калмыками. Стоит отметить, что гордость за родную станицу Батлаевскую и ее самый красивый на Дону хурул проявляется в нарративе Е. А. Буджалова как отражение сильной казацкой идентичности.

Запись состоялась в Элисте в доме Буджаловых в 2005 г. Это было спонтанное интервью, посвященное сибирскому периоду биографии калмыцкого поэта и сибирской теме в его творчестве. Оно отличается от обычных академических текстов по форме, так как было авторизовано поэтом. Расшифровав аудиозапись, я отдала Е. А. Буджалову текст для согласования, уточнения дат, имен, названий населенных пунктов. Неожиданно Егор Андреевич вставил диалоги, и интервью обрело голоса людей, которых рассказчик вспоминал, и самое повествование стало стереоскопичнее. Было видно во время записи, что для народного поэта Калмыкии и драматурга Егора Буджалова тема депортации остается важной — и в творчестве и что в его личном интеллектуальном пространстве еще не все оценки расставлены, особенно это касалось темы второй волны эмиграции. Те, кто был знаком с поэтом, могут представить его свободную жестикуляцию и эмоциональный актерский голос, который в этом нарративе то набирал силу гражданского пафоса, то опускался до тихих нот сострадания.

### **Е. А. Буджалов**

Первым художественным произведением о депортации калмыцкого народа в Сибирь была поэма К. Э. Эрэндженова «Мой старый тополь под окном». Подстрочник поэмы для перевода с калмыцкого языка на русский был осуществлен мною в 1961 г.

В 1962 г. ленинградский поэт Анатолий Аквилев перевел поэму на русский язык. В те годы я учился в Калмыцкой национальной студии актерского факультета Ленинградского государственного театрального института им. Островского. Константин Эрендженович был нашим наставником в студии и, кроме того, преподавал нам калмыцкий язык и литературу.

Поэма «Мой старый тополь под окном» получила одобрение в институте, а также положительный отклик среди широкого круга читателей в Ленинграде и Калмыкии.

Не прошло и полугода, как вышла в свет поэма Давида Кугультинова «От правды я не отрекался». Эта поэма получила высокую оценку читателей уже не только в Калмыкии, но и во всей стране.

В этих двух поэмах авторы с большим мастерством показали жизнь высланных калмыков без прикрас, остро, правдиво и достоверно. Именно поэтому эти произведения вызвали живой интерес у читателей. Позже на эту тему появились произведения других калмыцких писателей, но многие из них, к сожалению, были надуманны, приукрашены и насквозь пропитаны идеологией.

Когда же Брежнев стал генсеком ЦК КПСС, то тема выселения калмыков в Сибирь для нас писателей-калмыков стала закрытой, говорить и писать об этом строго запрещалось. Нарушение неотвратимо влекло за собой наказание. Примерно в эти же годы одно из московских издательств выпустило книгу Мариэтты Шагинян «Семья Ульяновых», в которой автор утверждает, что бабушка В. И. Ленина была калмычка. Как это так?! У вождя мирового пролетариата, основателя коммунистической партии В. И. Ленина бабушка калмычка?! Тут же поступило указание сверху — тема закрыта. Вето! В те времена я уже работал редактором художественной литературы в Калмыцком книжном издательстве, меня вызвали в ЛИТО и взяли подписку, что мною не будут публиковаться произведения, в которых говорится о выселении калмыков в Сибирь и о том, что бабушка В. И. Ленина была калмычкой.

В 1988 г. разрешили вслух говорить и писать о выселении, разрешили молиться и открывать молитвенные дома. На специаль-

ном совещании Совета министров был поставлен один вопрос — открытие молитвенного дома в г. Элисте. Я был приглашен на это совещание и стал свидетелем, по тем временам, большого события. Среди приглашенных были и такие, кто голосовал против открытия молельного дома, они призывали к осторожности, продуманности, пугали возможными провокациями. Тем не менее из 25 приглашенных «за» открытие проголосовали 23 человека, «против» — двое. До революции 1917 г. на территории Калмыкии имелось более ста пятидесяти хурулов и молельных домов, только в местах проживания донских калмыков, в 13 станицах, действовало 13 хурулов и более 20 молельных домов. Самый красивый хурул был построен у нас, в станице Батлаевской. С приходом советской власти все хурулы и молельные дома были разрушены, золотые и серебряные украшения храмов конфискованы государством, а утварь и священные изображения были собраны и отправлены в Ростов-на-Дону. Служителей же хурулов просто расстреляли. И вот, через семьдесят лет после уничтожения буддийской религии, в Калмыкии открывают молельный дом! Молельный дом в Элисте открыли, пригласили ламу из Бурятии. Верующих больше никто не преследовал.

В Сибири, помню, три раза в месяц по лунному календарю (8, 15, 30 дни) верующие старушки-калмычки украдкой собирались, творили молебн, исполняли религиозные обряды, может быть, не совсем как положено, но все-таки. После молитв пили калмыцкий чай, беседовали, а главной темой их разговоров была гибель их родных и близких, горькая судьба, которая им выпала на склоне лет, тоска о родном крае...

После 1988 г., пока ещё свежа память о выселении калмыков, я написал поэму «Двери настезь, калмыки!». В 1989 г. она вышла отдельной книгой небольшим тиражом в одну тысячу экземпляров и моментально разошлась.

За 24 года редакторской работы в книжном издательстве я видел, как трудно нашим писателям перестраиваться, как меняется их отношение к творчеству, как нелегко коммунисту-писателю ото-

рваться от партийности и соцреализма в литературе. Кто-то ушел из жизни, кто-то переделывает ранее изданные романы и повести, а кто-то не создал ни одного нового произведения. Если говорить о себе, то могу сказать, что я был таким же, как все. Был план, и были темы, надо было писать, публиковаться и показывать, что ты не отщепенец, не диссидент. А для этого писать надо было в патриотической ноте: Октябрьская революция, КПСС, мир, труд, май, при социализме живем хорошо, строим коммунизм и т. д.

Перелом произошел после провозглашения гласности, когда постепенно начала набирать силу демократизация в обществе. Не сразу и совсем не легко, но гласность пошла. До этого мы жили за железным занавесом, кто-то понимал это, кто-то — нет. Когда его сняли, начался культурный обмен, надзора и запрета стало меньше, дышать и писать стало легче.

Наша калмыцкая национальная студия была открыта в 1958 г. при Ленинградском государственном театральном институте имени Островского. Нас, студентов, было 23 человека, все были зачислены на актерский факультет. Отбор в студию проводился тщательно и строго, конкурс проводился в кинотеатре «Родина». Руководителем комиссии была преподаватель актерского мастерства Ода Израилевна Альшиц. Кроме нее, в комиссию вошли заместитель министра культуры Бадма Эрдниевич Эрдниев, артист театра Бембя (Борис) Бадмаевич Мемеев, поэт Константин Эрендженов, народный артист РСФСР Нарма Эрендженов и другие. От обкома партии набор в студию курировал секретарь обкома Бем Окунович Джимбинов. Из 118 абитуриентов с трудом набрали 23 студента. Основная проблема была в том, что почти все плохо знали свой родной язык, родную литературу и культуру. Горький результат насильственного выселения калмыков. За период депортации был позабыт, потерян родной язык, а знание калмыцкого языка для артистов национального театра было обязательным требованием.

На студию возлагалась особая задача — возрождение калмыцкой театральной культуры. Многие довоенные артисты, ушедшие

на фронт, погибли, многие умерли в ссылке в Сибири, немногие оставшиеся в живых — больны. Старый театр был взорван фашистами во время бегства из Элисты. Города нет. Есть разрушенные здания и жилые дома, пришедшие в негодность. После выселения калмыков столица была переименована в село Степное, в котором проживало около 5 тысяч человек. Полнейшее запустение. Весной и осенью по колено грязи, летом — песчаные бури. Нет ни воды, ни электричества. Нет дорог, одни колдобины.

Наступило время, когда руководство коммунистической партии было вынуждено признать свои преступные ошибки в отношении ссыльных народов и разрешить им вернуться на родину. В Калмыцкую автономную область Ставропольского края, в которую была преобразована республика, разрешили вернуться всем калмыкам, в тот момент разбросанным и проживающим на громадной площади — от Урала до Сахалина. Спустя год Калмыцкая автономная область была награждена орденом Ленина, в честь 350-летия добровольного вхождения в состав Российского государства. Тогда же Калмыцкая автономная область была переименована в Калмыцкую автономную республику, т. е. все вернулось на круги своя.

Очень дорого стоила калмыцкому народу ошибка «нашей родной» коммунистической партии. До ссылки численность калмыков составляла 120 тысяч человек, около половины из них погибло от голода, холода и болезней. В 2003 г. республика отмечала 60-летие трагических событий, за 60 лет численность калмыков все еще не вернулась к исходной цифре 120 тысяч.

1959 год был для меня в институте очень удачным. Константин Эрендженович пригласил меня к себе на квартиру, а когда я к нему пришел, меня очень приветливо встретила его супруга — Бова Кекеевна.

— Здравствуй, Егор, заходи. Кости нет, ушел в магазин, скоро придет.

Я прошел в комнату, присел на мягкий стул у большого круглого стола, сажу и молчу.

— Егор, Костя мне дал напечатать твои стихи, я их прочитала, и, ты знаешь, они мне очень понравились, особенно про маму. Костя внес кое-какие правки, ты не против?

— Почему против? Я рад... даже очень...

— Он тебе еще ничего не говорил?

— Нет.

— Тогда знай... Он написал о твоих стихах небольшой отзыв и отправил в Элисту, в газету «Хальмг Үнн» (Калмыцкая правда). Ты ему ничего про наш разговор не говори, он тебе сам все расскажет.

— Он похвалил тебя... Да он вас всех хвалит... Такой уж он человек...

Тут подошел из магазина Константин Эрендженевич, сумку с продуктами сразу занес на кухню. Когда он зашел в комнату, я встал.

— Сиди, сиди. Бова, нам чаю, пока говорить будем.

— Значит, так... Ода Израилевна просила меня перевести на калмыцкий язык пьесу А. Островского «Доходное место». Эта пьеса хорошо подходит нашей студии, как учебный материал по мастерству и, может быть, войдет в плановый дипломный репертуар института. Работа срочная. И, я думаю, здесь можно будет убить двух зайцев. У нас, кроме тебя, хорошо владеют языком Ваня Уланов, Саша Сасыков и Борис Очиров, вот вы и переведете пьесу на калмыцкий язык, а чтобы ускорить перевод, разделите между собой пьесу по актам. Это поможет вам в работе над ролями, а заодно и в освоении родного языка.

— А Вы?

— Я буду сводить ваши переводы к калмыцкому литературному языку, а точнее — буду редактором перевода. А наше министерство выплатит вам гонорар за перевод пьесы. Так что, Егор, поговори с ребятами и, если согласны, приступайте к работе. Ну а если нет, то буду переводить сам.

— А если мы не сможем? Перевести пьесу на калмыцкий язык... страшно даже представить...

— Надо же когда-то начинать? Ты же сделал подстрочный перевод моей поэмы на русский язык? Мне он понравился, переводчику Аквилеву тоже, он, между прочим, уже над ним работает...

— Честно признаться, я боюсь. Четыре человека над одной пьесой. Не получится как у Крылова, «Лебедь, рак и щука»? Каждый по-своему. Трудно...

— А я на что? Ты говоришь: трудно? А я говорю: полезно. Дорого то, что трудно достается... Вот так, Егор...

В это время зазвонил телефон, Константин Эрендженович снял трубку, коротко переговорил, и мне:

— Звонил Аквилев, просит приехать — что-то пояснить по поэме...

Я простился и ушел от него с головной болью. Этого надо же додуматься — поручить перевод пьесы недоучкам?!

Вечером того же дня, мы четверо собрались у Бориса Очирова, я рассказал о встрече с Константином Эрендженовичем и выложил им его предложение. Ребята были ошеломлены. Работа была очень ответственная, объемная и трудная, все это понимали и поэтому решение решили отложить до утра. На следующий день мы встретились с Константином Эрендженовичем и, после долгого обсуждения, дали согласие на этот эксперимент.

Через месяц мы все сдали свои поактовые переводы-подстрочники Эрендженову. Еще через два месяца, после тщательной редакторской работы, перевод пьесы Островского был полностью готов. В дальнейшем пьеса хорошо послужила нам как учебный материал по актерскому мастерству, сценической речи и, в итоге, была принята институтом как будущая дипломная работа. Как вторая дипломная работа была принята ещё одна пьеса, которую мы перевели на калмыцкий язык под руководством Константина Эрендженова несколько позже, используя тот же прием, это была комедия Карло Гольдони «Слуга двух господ». Забегая вперед, скажу, что наши дипломные спектакли — «Доходное место» Островского и «Слуга двух господ» Гольдони — получили высокую оценку приемной комиссии института и были восторженно встречены зрителями в Элисте и в районах республики.

В апреле 1959 г. я получил письмо от матери, в котором она сообщала, что мой отец Андрей Сергеевич Буджалов жив и здоров. Проживает в США, в Филадельфии. Оказывается, он написал письмо своему давнему другу Синельникову Василию, с которым до войны работал в колхозе Батлаевке. В письме он просит Василия помощи в поиске нашей семьи. Тот, в свою очередь, обратился к казаку-калмыку Андрееву Павлу Андреевичу, бывшему нашему соседу по станице до выселения. Андреев Павел нашел мою мать в Элисте и передал письмо отца, а уже она отослала это письмо ко мне в Ленинград. Поначалу я очень обрадовался тому, что отец наш жив и здоров, но затем пришло понимание, что, возможно, не все так хорошо. Мы здесь, он там, в США. Как мне быть? Что делать? И вообще имею ли я право учиться в институте? В свое время я в автобиографии писал, что отца вынудили покинуть страну насильно, и он пропал без вести. И вот письмо. Он жив, здоров, проживает в США. Я пошел к Эренджену, все ему рассказал и показал письмо. Константин Эрендженевич в свое время был осужден по 58-й статье и как «враг народа» отсидел в Магадане 10 лет. Мне он ничего конкретного предложить не смог, но предложил поехать с ним вместе к нашему руководителю студии О. И. Альшиц. Ода Израилевна приняла нас, выслушала и предложила пойти к ректору института Серебрякову и все рассказать ему. А там, как он посоветует, так и поступить. Перед этим Ода Израилевна попросила меня рассказать все про моего отца, что я и сделал.

Мой отец, Буджалов Андрей Сергеевич, калмык, донской казак, родился в станице Батлаевской в 1890 г. В 1914 г. началась Первая Мировая война, и его призвали в армию. В первые дни войны казачья часть, в которой он служил, приняла участие в боях на границе Польши, попала в окружение и была разбита. Отец был контужен и попал в плен к немцам. Из лагеря военнопленных периодически составлялись группы, которые направлялись на сельскохозяйственные работы. Моего отца, в составе одной из групп, направили на работы в хозяйство богатого немца. По все видимо-

сти, он показал себя хорошим работником, поэтому его оставили в этом хозяйстве на постоянную работу. Находясь там, он выучил немецкий разговорный язык, писать и читать не умел. Работал в этом хозяйстве вплоть до 1921 г., когда его в составе остальных русских военнопленных, репатриировали в Россию. Вернувшись на родину, отец женился на моей матери Полине Дорофеевне, дочери казака-калмыка Талтагашева Дорофея. 1921 год, счастливый для моего отца, был тяжелым и страшным годом для многих других, так как на юге России бушевал голод и мор, последствия гражданской войны.

Мои родители ушли на Дон, там отец устроился на работу табунщиком у богатого конезаводчика, был на хорошем счету. В 1929 г. родился я. Мать рассказывала, что роды принимал старик-казак по имени Егор, и, когда он увидел, что родился мальчик, он воскликнул: «Егор родился!» Так я получил имя Егор.

В 1930 г. на Дону началась коллективизация, и мои родители вернулись в родную станицу Батлаевку. В колхозе отец последовательно работал конюхом, потом учетчиком в бригаде, а затем был назначен заведующим молочно-товарной фермой. Отец пользовался большим авторитетом у руководства и уважением односельчан. У отца было ещё одно имя, калмыцкое — Перля, так его называли родные и близкие люди. Многие калмыки и сейчас имеют по два, а то и по три имени: одно дают в хуруле — это имя тайное, не подлежит оглашению и используется в религиозных обрядах, другое — официальное — то, что указано в паспорте, а у некоторых имеется ещё и имя, которое используется только внутри семьи. Чаще всего его дает мать, так как согласно законам и традициям, невестке было запрещено называть старших родственников по мужской линии по имени, а если детям приходилось давать родовые имена, то ей необходимо было как-то выкручиваться. Наша мама родила 13 детей, большинство умерло в грудном возрасте, в живых осталось только трое — я, мой погодок Пантелей и самый младший Сергей. Жили, по тем временам, неплохо: была корова с теленком, пара овец, куры, гуси...

Началась война. В 1942 г. моего отца мобилизовали на перевозку сена для Калмыцкой кавалерийской дивизии, дислоцированной на Дону. Колхоз выделил отцу пароконную телегу. Меня он взял с собой, чтобы я помогал ему смотреть за лошадьми и т. п. В июле немцы заняли Ростов и вплотную приблизились к Дону, немецкие самолеты бомбили город Семикаракорск и все дороги, ведущие на Дон. За две недели, мобилизованные из совхозов и колхозов возчики, навезли к берегу несколько больших стогов сена. Однажды приемщик сказал отцу, что фронт приближается и что вам после выгрузки надо сразу уходить домой. Мы так и сделали, до станции было около 80–90 км. Июль, жара 40–45 градусов, до дома добирались сутки.

Пока нас не было, весь дойный скот, молодняк, а также отары овец эвакуировали, третий день, как ушло все начальство с семьями. Оставили только свиноферму, потому что в такую жару свиньи сами идти не могут, голов сто взрослых и весь молодняк. Свинарки на ферме по-прежнему за ними присматривают, а сторож Балданов продолжает дежурить по ночам.

Уже за столом отец стал расспрашивать мать:

— А урожай как?

— Озимая была хорошей, колосья полные, крупные. Пшеницу убрать успели, а на элеватор отвезти не смогли — не на чем.

— Зерно куда девали?

— Свезли на центральный ток. Сам увидишь, целая гора...

— Да-а-а.., жалко... Женщины с подростками землю на волах пахали, столько работы и... для кого?!

Отец опять замолчал, потом поднял голову, прислушался, осмотрелся и опять опустил ее. Суп его давно остыл...

Я свою чашку давно опорожнил, но из-за стола не встал, на меня не обращали внимания, а мне было интересно послушать разговор взрослых, хотя некоторые вещи были для меня не совсем понятны. Моя мать, всю жизнь прожившая в селе, прекрасно понимала, какой ценой достается хлеб, как трудно вырастить скот, какого труда стоит достаток в доме. Мне же было 13 лет, и я только

начинал понимать жизнь. Я смотрел на подавленные лица родителей, на их грустные и тревожные глаза и понимал, что ни утешить, ни помочь им ничем я не могу. Мать продолжила:

— Недавно на улице встретился старик Манцынов, постарел, осунулся... Похоронку получил, сын погиб под Харьковом. Жалко старика, уже двух сыновей потерял...

— Да-а-а..., ничего не поделаешь, война... Старуха его померла, совсем один остался...

— Страшно... Да, о тебе справлялся Василь Синельников, привет передавал... Просил зайти, как приедешь.

— Спасибо. Полина, водка в доме есть?

— Арака...

— Налей мне кружку...

Мать принесла литровую бутылку самогона из кислого молока и поставила на стол, рядом поставила чистую алюминиевую кружку.

— Много не пейте, могут люди прийти...

Отец налил полную кружку, молча выпил, посидел и сказал: «Да поможет нам бог», и резко встал и вышел из комнаты.

— Бутылку убери, Полина. Я схожу к Василию...

К вечеру того же дня по станице, от двора ко двору, пролетел слух: зерно на току прееет... пшеница пропадает!... где?.. на току!.. надо спасать!.. сельчане берут, кто сколько может... А кто раздаст?.. Никто... Спасибо, что сказали... Зерно прееет!.. бери сколько сможешь...

Мы тоже взяли, мешков десять привезли на колхозной возилке, так в станице называли повозку. Соседи приставали к отцу с просьбой одолжить возилку с лошадьми. Отец дал, но предупредил, что повозка и лошади колхозные, ему за них отвечать, чтобы вернули целыми и невредимыми.

Ранним утром следующего дня, отец разбудил меня и Пантелея, чтобы мы с утра искупали в речке лошадей, а затем надели на них путы и пустили пастись за селом. Мы с братом так и сделали. Возвращались домой пешком, через МТФ, мимо центрального

тока. На току было пусто, не было ничего, кроме сотни воробьев, копошащихся на месте огромной кучи зерна.

А еще через день, через нашу станицу пошли беженцы с Дона на Волгу. Несметное количество телег, повозок, тачек, груженных домашним скарбом. Кто-то останавливался возле колодцев и набирал питьевую воду, другие ходили по дворам, меняя барахло на продукты, вид у всех них был усталым и изможденным. Старики, женщины и дети — все эти жертвы войны, беженцы — шли, не зная куда, лишь бы уйти от войны. Шли, не зная привалов и отдыха, днем и ночью, гоня перед собой свой домашний скот... Жители станицы оказывали им посильную помощь продуктами: хлебом, молоком, свиным салом, всем, что было под рукой... Беженцы прошли, и наступила тишина. Станица будто вымерла, даже собаки перестали лаять. Над каждым домом, в каждой семье повисло предчувствие беды...

Прошло два дня. Над станицей участились пролеты немецких самолетов, «рама» постоянно кружила над соседними станицами. В конце дня в Батлаевку вошли части 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии, все жители, особенно мальчишки, с восторгом смотрели на кавалеристов-горцев, храбрых и молодых, вооруженных шашками и карабинами, на тачанки с пулеметами и пушку, которую тащили четыре лошади. «Всё, немцам пришел каюк, наши их разобьют в пух и прах», — говорили пацаны. В этот момент мы все радовались и верили в нашу безоговорочную победу.

Кавалеристы спешили, начали копать окопы, траншеи, снимать с тачанок пулеметы и устанавливать их в незаметных местах — в общем, готовиться к обороне. Окопаться и занять оборону кавалеристы успели, и все это время над станицей кружила немецкая «рама». Ближе к вечеру мы, мальчишки, начали бегать на позиции к солдатам, несли им воду, хлеб, молоко, другие продукты, а они нам давали поддержать винтовки, карабины, шашки.

На следующее утро немцы пошли в наступление. Сначала началась бомбежка наших позиций, затем артиллерийский обстрел, а потом пошли солдаты.

Отец, воевавший в Первую мировую войну, с первыми разрывами артиллерийских снарядов, страшно испугался и загнал нас всех в окоп, вырытый недалеко от дома, в канаве. Когда немцы подошли к Дону, от руководства колхоза пришло указание, чтобы каждая семья вырыла себе рядом с домом индивидуальные щели-укрытия. Окоп, который вырыл наш отец, был большим и глубоким, как подвал; чтобы в него спускаться, отец сделал лесенку, сверху он закрывался специальной дверцей. Все время, пока наверху слышались взрывы, мы просидели в нашем окопе и тряслись от страха. Во время короткой передышки мы с братом Пантелеем вылезли наверх и осмотрелись.

Вокруг тишина, выстрелов нет. Я увидел, что народ бежит в колхозный двухэтажный амбар, и сказал об этом отцу, он тоже решил нас вести туда. Первый, наземный этаж амбара был битком набит отрубями — кормом для свинофермы, нижний этаж — подвал — был очень просторным и вместительным, и народа в нем было полно, а когда людей собирается в одном месте много, они не так боятся. Наверху опять разгорелся бой, мы безвылазно сидели внизу и только догадывались, что там наверху происходит...

На четвертые сутки отец заметил, что стена в одном месте треснула, он всем сказал, что в подвале оставаться опасно, надо расходиться по своим окопам, но людям страшно было выходить на улицу, и поэтому его мало кто послушался. И, когда по канаве он повел нас в свой окоп, с нами ушла только одна семья — Шургучиновых, мать с двумя детьми. Мой брат Пантелей и его друг и одноклассник Ким Шургучинов не послушались, спрятались и остались в подвале.

К концу четвертых суток боев, мы услышали грохот идущих танков; стрельба прекратилась, и наступила мертвая тишина. Вдруг кто-то откинул в сторону дверцу нашего окопа и что-то по-немецки крикнул, отец так же, на немецком языке ответил. Оказывается, спросили, есть ли в окопе солдаты, отец ответил, что их нет, здесь только мирные жители. Немцы, а это были они, заставили нас подняться наверх, посветили на нас фонариком и ушли.

Отец посмотрел в сторону амбара и, увидев, что его нет, бросился туда, мы с матерью за ним. Оказывается, в амбар попала бомба, и мы были первыми, кто увидел эту страшную картину. Верхний этаж амбара вместе с крышей, перекрытиями и отрубями обрушился в подвал и завалил всех, кто там находился. Из-под жуткой мешанины, состоявшей из отрубей, самана и деревянных перекрытий, слышались плач и стоны задыхающихся людей. Отец отправил меня домой за лопатами, а сам с матерью и Шургучиновой принялись голыми руками разгребать завал из самана и отрубей, оттаскивать в сторону доски и балки. В станице о трагедии узнали не сразу, но, едва услышав, люди поспешили к нам на помощь.

До того, как мы нашли Пантелея, мы выкопали человек 35–40. Из-под завала всех выкопанных выносили наверх и складывали рядами, а родственники, если они были, потом забирали их по домам. До войны в колхозе жила многодетная семья Селивановых, в которой было одиннадцать детей, они получали от государства небольшую помощь за многодетность. В подвале среди других семей была мать Селивановых с девятью детьми, двое старших в подвал не пошли, остались в семейном окопе. Когда к утру второго дня, выкопали семью Селивановых, мать смогли откачать, а детей — нет: все погибли. Она увидела трупы детей, упала на них, ревела, рвала на себе волосы, звала их по именам, обнимала и целовала. Она не узнавала двух своих старших детей, оставшихся в живых, так в крике упала и умерла. Старшая сестра, забыл, как её звали, и брат её Коля на тачках перевезли их домой и похоронили в общей могиле рядом с домом.

Семья Санжиевых тоже пряталась в подвале, семь человек — все погибли. Семья Манжикова Санжи — четверо дочерей завалило в этом подвале, а их мать осколками бомбы разорвало на куски: мой отец в первый же вечер раскопок нашел хромовый сапог, потянул на себя и вытащил оторванную ногу, некоторое время спустя нашли и остальные части её тела. Люди работали на пределе; после того, как вытащат несколько трупов, копающие сменялись. Выкопанных складывали наверху в ряд, но не по семьям, а как

попало, родственники сами разбирали погибших и хоронили их возле собственных домов.

Бабушка Кутушова с двумя внуками и собачкой тоже прятались в подвале, все погибли, кроме собаки. Собаку отец нашел в самом начале, вытянул её за задние ноги и, посчитав мертвой, выбросил её из ямы, чтобы не мешалась под ногами. От удара она очнулась и, немного полежав, отошла в сторону и легла головой к подвалу. Периодически она стонала и тихо подвывала, люди кричали: «Да прогоните же эту собаку! Без нее на душе тошно!», но её никто не отгонял. Я, да и другие люди, заметили, что, когда наверх поднимали очередной труп, собака, поджав хвост, подходила к нему, обнюхивала, а затем также тихо отходила на свое место. Кто-то сказал, что она ищет своих хозяев, и, оказывается, был прав: когда нашли и подняли наверх тело старухи Кутушовой, собака сразу узнала её, обнюхала, облизала грязное от пыли лицо, легла рядом, прижавшись к трупу, и замолкла.

Я упустил один очень важный момент — шел июль месяц, и на улице стояла страшная жара, днем за 40 градусов, ночью не намного прохладнее — около 25–30 градусов. Под палящим солнцем вытащенные наверх трупы начали быстро разлагаться.

Мои родители и дядя Сумьян, старший брат мамы, все время внизу — копают, видимо, до последнего надеются, что Пантелей жив. Дядя Сумьян чуть старше нашего отца, года на два–три, но он был очень крепким стариком. Я с другими детьми наверху, моя задача смотреть за младшим братом — Сергеем, которому скоро исполнится четыре года, и за ним нужен глаз да глаз. К подвалу подходят немецкие солдаты, что-то между собой обсуждают, фотографируют подвал, трупы, сложенные наверху. Один немец сфотографировался на фоне трупов...

Нашего Пантелея мы нашли к концу второго дня спасательных работ. Он, как и многие другие, лежал головой вниз, ногами вверх, люди говорили, что их так перевернула взрывная волна. Ран на теле не было, но вена, сосуд толщиной с палец, взбухла на сердце, говорили — задохнулся. Отец на руках отнес его домой, дом наш

стоял недалеко, каких-то 100–120 м. Пантелея обмывала мама, взрослые, посоветовавшись, решили похоронить Пантелея на южной стороне села, недалеко от дома Кутушова Монгола, у которого в этом подвале погибла его мать с двумя его детьми. Могилу выкопали отец с дедом Сумьяном, а потом завернули тело Пантелея в одеяло и похоронили его. Рядом, практически одновременно с нами, Кутушovy хоронили своих родственников.

Война — это смерть. В тот момент я понял это очень хорошо. Сколько народа погибло в том подвале, никто точно не знает. В основном это были дети. Когда мы уносили нашего Пантелея, было выкопано уже больше сорока человек, позже люди называли разные цифры — 60, 70, 83...

Вечером, после похорон, отец с дедом Сумьяном крепко выпили. За эти дни отец очень устал — как телом, так и душой: бессонные ночи, тяжелые физические и нервные нагрузки сказались на нем. Он плакал навзрыд, звал Пантелея, проклинал себя за то, что оставил в подвале сына, ругал войну, немцев, потом опять переходил на себя. Дед Сумьян пытался успокоить его, как мог:

— Держись, Перля, бог дал, бог взял. Надо благодарить его, что сам остался жив, жена, двое сыновей. Это ты их спас, если бы ты их не увел, то сегодня я бы хоронил вас всех... — сказал и опять налил полную кружку араки. Мать говорит:

— Не наливай, Сумьян. Ему же хватает...

— Ничего, ничего... пусть пьет, скорее уснет...

Тут отец поднял голову, уставился на мать и говорит:

— Полина, мы сына потеряли, Пантюшку... А ты где была, ты куда смотрела?! Почему Пантелей остался там?! Ты плохая мать!.. Ты живешь, а твой сын нет!.. Ты, это ты во всем виновата!..

Мать разрыдалась и выбежала на улицу, а дед Сумьян залепил отцу хорошую оплеуху, после которой тот упал, что-то пытался сказать заплетающимся языком, но не смог и заснул. Спустя некоторое время вошла заплаканная мать и увидела растянувшегося на полу отца.

— Что вы с ним сделали?!

— Да ничего не сделали, успокойся. Просто уснул.

— Теперь он меня виноватой сделал...

— Себя он тоже винит, ты же слышала.

— Да как ты не поймешь, он решил всю вину свалить на меня...

Скажи, Сумьян, ты тоже считаешь, что виновата я?

— Да успокойся ты, Полина! Война виновата! Война... Ты что же думаешь, только у вас сынишка погиб? Да ты посмотри вокруг. Сколько в станице народу погибло, а сколько погибло наших солдат на краю села? А у них у всех есть родные, мамы, папы, дети, жены... Война во всем виновата! Война... Пантюшку, конечно, жалко, но тебе с Перлей надо сейчас думать о живых, о живых надо думать, сестренка. Егор, Сережка — о них надо думать, как их поднять... Война-то ещё не кончилась, ещё неизвестно, что дальше будет...

Слушая старшего брата, мать немного успокоилась, молча вытирая платочком слезы со щек, глубоко вздыхала... В комнату зашел Сережка и сразу прижался к маминым коленям, заплаканный и грязный от слез и пыли, с испуганным выражением на лице. Он впервые увидел отца в таком состоянии и очень испугался, да и я впервые видел, чтобы отец так кричал и рыдал... Дед налил чуть-чуть араки в кружки, одну подал маме и сказал:

— Ты выпей, Полина, вот увидишь, полегчает...

Сам выпил, не дожидаясь матери:

— Пойду я домой... Попозже загляну... А ты отдохни, попробуй хоть чуть-чуть поспать... Егор, смотри за братиком. Искупей его...

И ушел...

Прошла неделя, как станица оказалась захвачена немцами. Стояла обычная для этого времени жара, днем 40–45, ночью до 30–35 градусов. Немецкие войска прошли на восток к Сталинграду и Астрахани, в станице обосновался отряд связи, человек 10–12, который проверял линию связи, проходившую через Батлаевку. Как-то утром все взрослое население станицы собрали на площади, возле сельсовета. Меня там не было, я присматривал за заболевшей матерью, потом нам рассказали, что там было.

Народу было немного, одни пожилые казаки, русские и калмыки, женщин не было. Немцев тоже было немного, среди них стоял местный казак Калашников. Немецкий офицер, абсолютно чисто, без акцента, на русском языке сказал:

— Граждане казаки, я местный, до войны жил в Немпотаповке, это по соседству со станицей Богшорганкин. Когда началась война, всех немцев, которые жили здесь, выслали в Сибирь и Казахстан. Большевики говорят: «Мы вырвем с корнем всякую нечисть... всех уничтожим... сотрем с лица земли...». Вас — казаков Дона, русских и калмыков, расстреливали и сажали в тюрьмы как врагов народа... Я учитель, учил детей в школе, и я добровольно перешел на сторону доблестной немецкой армии, потому что ненавижу советскую власть, большевиков и коммунистов за то, что они не любят свой народ, уничтожают его и превращают людей в рабов. Великий Гитлер и победоносная немецкая армия освободит русский и другие народы от большевиков и коммунистов, принесет народам России свободу и процветание. Казаки Дона должны это понять и в меру своих сил помогать этой миссии великой Германии. Рядом со мной стоит ваш земляк, казак Калашников, он это прекрасно понял и сам, добровольно предложил свои услуги немецкому управлению. Мы достойно оценили его поступок и назначаем его старостой вашей станицы.

Немецкий офицер пожал руку Калашникову и поздравил его с назначением.

— С этого дня он ваш прямой начальник, его приказы должны выполняться незамедлительно и беспрекословно. Из числа казаков вашей станицы он сам выберет кандидатуры в сельскую управу и полицейских, все они будут утверждены в районном управлении командованием немецких войск. Хочу особо подчеркнуть, что в вашей станице расквартирована немецкая часть, и вам потребуются обеспечивать их всем необходимым по первому требованию. Тут Калашников сказал:

— Господин офицер, я не знаю немецкого языка...

— Обратитесь в школу, найдите учителя немецкого языка.

— Нет у нас таких учителей, у нас немецкому не учили.

— Ну, поищите среди станичников...

На следующий день к нам пришли два молодых казака и увели отца в станичную управу, отец вернулся только к вечеру. Староста взял его к себе личным переводчиком и, по совместительству, кучером.

Станица словно замерла. Моя мама сразу после похорон Пантелея слегла и практически не поднималась, жаловалась на боли в груди, перестала есть и пить. Все заботы по дому, уход за живностью, присмотр за младшим братом легли на мои плечи. Особенно тяжело было смотреть за Сергеем, которому было около четырех лет, и он постоянно куда-то убегал... Отец уходил рано утром, а приходил поздно вечером, рассказывал, что с немцами общаться практически не приходится, так как если им что-то надо, то они это делают сами, ходят по дворам и собирают птицу, молоко, масло и другое. Раньше в станице не было ни одного двора, где бы ни держали свинью, теперь в станице не было ни одной — немцы всех свиней перестреляли, погрузили в машины и куда-то вывезли.

В начале августа жара стала спадать. Мама стала подниматься и понемногу управляться по дому, жить мне стало легче. Отец, приходя поздно вечером, рассказывал, что случилось в округе, хотя как всегда был немногословен. За Крипяновкой, это соседняя большая станица, в трех местах оборвали телефонные провода, а вчера на границе каких-то двух станиц возле реки Сал, обстреляли немецкую колонну, где-то еще взорвали мост. В Батлаевке было все тихо и спокойно, передвижение немецких войск прекратилось. Отец говорит, что они теперь идут через Мартыновку, Новониколаевку, Куберлу и дальше на восток...

Прошел сентябрь, затем октябрь, в станице все было тихо и спокойно, а в округе продолжали срывать телефонные провода, нападали на связистов-ремонтников. В конце ноября отец сказал матери, что староста дал ему задание проверить лошадей, сбрую и готовиться к отъезду — немецкие войска терпят поражение в районе Сталинграда. Отец будет сопровождать его в качестве кучера

и должен быть готовым отбыть в любой момент, уходить будут с Калмыцким кавалерийским корпусом через Мартыновку и Кутейниково на Ростов-на-Дону. Из нашего села вслед за немцами уходили все, кто служил немцам: калмыки и русские, те, кто работал в немецкой администрации, их родственники и близкие. В числе работавших на немцев был и мой отец, хотя в тот момент он особо выбирать не мог, потому что был уже пожилым человеком, дети были ещё маленькие, а так получилось, что он единственный в селе хорошо знал немецкий язык, правда, писать по-немецки не мог, а только говорил. Отец очень не хотел уходить, но оставаться ему было нельзя — сразу бы расстреляли. Когда за ним пришли, отец сказал матери, что хочет взять меня с собой, но мать ему категорически отказала. Она начала кричать:

— Егора я с тобой не отпущу! Сам катись на все четыре стороны! А Егор останется со мной дома! Это ты погубил Пантелея, ты увел нас всех в подвал и оставил там сына. Ты виноват в его смерти! Хочешь и этого погубить?! Не дам! Хочешь уйти?! Уходи! А Егора не трогай!

Отец пытался что-то возразить, но она его не слушала. В этот момент в дом вошел полицай и сказал:

— Подвода у дверей стоит. Выходи быстрее, старик.

Поднял отцовский мешок и вышел. Отец не хотел уходить без меня, но мать его ко мне не подпускала, она загородила меня собой и кричала на отца. Вдруг отец обратился ко мне:

— Егор, ты уже большой, не дурак. Скажи, ты хочешь поехать со мной или остаться с матерью?

Я отстранился от мамы и громко ответил:

— Я останусь с мамой!

— Ну что ж, живите, как хотите...

И уже уходя, с порога:

— Да поможет вам Бог. Прощайте...

Приблизительно через неделю, когда выпал первый снег и погода стала ветреной и морозной, через станицу начали проходить отступающие румынские части, начался грабеж. Они забирали всё:

продукты, вещи, зимнюю одежду, оставшуюся скотину. К нам в дом ворвались два солдата с автоматами, ничего из вещей их не заинтересовало, и тогда они стали уводить нашу корову — Маньку. Мама бросилась её отнимать, выхватила веревку из рук солдата, начала кричать. Солдат тоже что-то крикнул, ударил её, поднял автомат и выстрелил вверх.

Мать веревку из рук не выпускала. Тогда второй румын что-то сказал стрелявшему, тот бросил конец веревки, и они ушли. Мы все плакали от страха, мама держалась за опухшую руку, по которой её ударили автоматом. Чехи шли через станицу весь день: на телегах, пешком, были и конные части. На следующий день мы узнали, что они ограбили всю станицу. Все боялись нового нашествия, особенно немцев, но на наше счастье, ни одна немецкая часть через станицу не отступала — видимо, прошли другой дорогой...

Весной 1943 г. из эвакуации вернули колхозный гурт, потери в нем были, но не очень большие. А вот колхозная отара овец не вернулась, половина её погибла от непереносимой жары и недостатка воды во время перегона, а другую половину забрали для нужд армии в Астрахани. В феврале отелилась наша корова Манька, так что молока в семье хватало. На семью разрешалось иметь одну корову и пару овец; налоги должны были платить молоком, но к концу года у нас осталась только корова. Школа в 1943 г. не функционировала, и все подростки должны были где-нибудь работать. Я стал пастухом дойного гурта, чуть позже меня перевели пасти телят, а на гурт поставили одного инвалида, которого контузило на войне. Мама работала на ферме дояркой, Сергей постоянно был с ней. Так, более-менее спокойно, прошли лето и осень, а потом с декабря пришла зима и калмыцкий праздник Зул; мать нажарила борщиков, сварила калмыцкий чай с молоком и маслом, и мы втроем его отпраздновали. А ровно через три дня, в 6 часов утра, в дверь громко постучали прикладом. Вошли двое, один из них, видимо, командир, громко матери сказал:

— Собирайте вещи, берите продукты и — на сборный пункт! Вас отсюда выселяют. На сборы дается полчаса!

Мать растерялась:

— Как выселяют? Почему? Я доярка, работаю на ферме. Да вы что?! А дом, корова, хозяйство — куда их девать? Куда я поеду!? Никуда я не поеду!

— Берите вещи и идите в контору! Там и скажут куда!

Потом он обратился к солдату:

— Ты их подгоняй, чтобы через 30 минут с вещами вышли.

И ушел.

Мать растерялась, подумала, что только нашу семью выселяют, и говорит мне:

— Беги к моему брату Сумьяну, скажи, что нашу семью выселяют.

Я оделся и побежал. Метров через сто меня остановили, сказали, что будут стрелять, я повернул и пошел домой. А пока возвращался, из многих дворов слышал крики: «Я никуда не поеду!». И понял, что не только нас — всех выселяют.

Слава Богу, солдат попался добрый. Он объяснил матери, какие вещи могут понадобиться, он все время повторял: «Берите теплые вещи. Сами одевайтесь теплее... Давайте быстрее...». Мать понемногу стала приходить в себя, открыла сундук с вещами, стала укладывать их в мешок. Солдат все время подгонял, а потом стал помогать. Сережка спал, ему было пять лет, когда его начали будить — просыпаться не хочет, хнычет. После того, как солдат ему сказал, что он поедет на машине, он оживился. У Сергея не было теплых вещей, так он его укутал в одеяло, как младенца. В общем, получилось три мешка и деревянный чемодан... Вышли на улицу, постояли возле дома, вижу — соседи тоже стоят... На улице был мороз, ветер продувает до костей, снег хлещет по лицу, глазам. В такую погоду хороший хозяин даже собаку на улицу не выгоняет, а мы с матерью тащим свои вещи — где волоком, где на спине, хорошо ещё, что нам солдат помогает. Сережка, укутанный одеялом, под напором ветра падает, встает, делает несколько шагов и опять падает. Изредка зовет маму, но не плачет, видимо, понимает, что произошло что-то страшное, а маме и брату и так тяжело тащить на себе мешки.

Кое-как мы добрались до колхозной конторы, где уже начал собираться народ, и устроились на входе первого этажа. Тем, кто пришел позже, пришлось тащить свои вещи на второй этаж. Раньше здесь стоял хурул, самый большой и красивый хурул из всех, которые были в 13 казачьих калмыцких станицах. В нем был паркетный пол с паровым отоплением, его строили немцы. Рядом с хурулом, в двухэтажном кирпичном доме, жили монахи. После революции хурул снесли, а в доме, где раньше жили монахи, разместился сельсовет. Люди всё подходили и подходили, тех, кто не поместился в здании конторы, погнали в школу. Большое, двухэтажное здание конторы, было битком набито детьми, стариками и женщинами, крики, стоны и плач слышались отовсюду. Запомнились мольба и стоны больных и немощных старух: за что их так наказывает бог, куда и почему их выселяют? Одна многодетная женщина, дети которой не успели покушать перед тем, как их выгнали из дома, и все время просили пить, как заведенная повторяла: «Корова осталась недоенной».

Один инвалид, без правой руки, которую он потерял в 1941 году под Москвой, вскидывая культю, кричал: «Я Москву защищал! Я защищал Родину! Почему меня выбросили из дома!? За что меня выселяют!?!». Ужас. Творилось такое, что невозможно передать словами.

Вокруг здания стояли автоматчики, одеты тепло: в полушубках, валенках, зимних шапках и рукавицах, все время сменялись. К обеду пришла колонна военных автомашин, это были новенькие американские студебекеры, машины были крыты брезентом и предназначались для перевозки солдат. Солдаты забежали в контору и перекрыли лестницу на второй этаж, какой-то офицер дал команду грузить в машины людей с первого этажа, нас стали торопить, и мы с мамой оказались в числе первых. Солдаты страшно ругались и матерились, заставляя нас быстрее шевелиться. Стариков и старух подсаживали, а детей и вещи просто забрасывали в кузов. Когда кузов набивался, в машину садилось два автоматчика, и нас везли без остановок до Куберлы. Куберла — это железнодорож-

ная станция на линии Ростов – Сталинград, здесь формировались эшелоны, для высылки калмыков Калмыцкого (Кутейниковского) района Ростовской области в Сибирь.

На станцию нас привезли ещё до наступления сумерек, там уже стояли эшелоны, состоявшие из пустых вагонов, в которых раньше перевозили скот: теплушек синего и красного цвета и длинных красных пульмановских вагонов. Теплушки — это маленькие, двухосные вагоны, в которых были сделаны сплошные нары из неструганных досок, окна были забиты железной сеткой, дверь снаружи закрывалась на засов. Нас туда загнали 48 человек.

Нам повезло, мы с мамой попали в серединку вагона, и это было очень хорошо, потому что у стены и у окна было очень холодно. У мамы была шубка, покрытая тканью, ею она укрыла нас, а сама сидела в фуфайке. В первый раз нам выдали пищу около 11 часов ночи, в Сарепте — запомнил это название станции. Вызвали двух мужчин покрепче, в нашем вагоне таких не было, поэтому пошли две девушки. Взяли два ведра и по команде побежали получать хлеб и продукты на определенное количество человек, вернулись к двенадцати часам и принесли хлеб и ведро селедки. Старики сказали поставить ведро с селедкой поближе к буржуйке. С нами в вагоне ехал один инвалид войны — выписался из госпиталя за два дня до выселения, так вот, он спросонья помочился в это ведро. Увидев это, старики его страшно обругали, но есть это, естественно, никто не стал и ведро выбросили. Возможно, кто-то потом и пожалел, но нет худа без добра, все-таки селедку в нашем вагоне никто не ел. А в других вагонах, где её съели, люди мучились от жажды, потому что воду им не дали. Так немцы пытали наших партизан — Володю Косиева и Юрия Клыкова, кормили их селедкой, а пить потом не давали, никто этого не ожидал, поэтому мучились страшно.

На остановках все собирали уголь или доски, чтобы топить буржуйку, если не набрал, то, чтобы не замерзнуть, танцуешь. Или лежишь, чтобы тепло не тратить. Горячее питание — один раз в день, если поезд останавливался, то набирали и пили кипяток.

Потом от голода-холода и болезней стали умирать люди. Сначала старик, потом солдат-инвалид, жена его стала просить, чтобы его оставили, чтобы прочитать молитвы, но старики говорят, что мертвые с живыми вместе быть не могут, надо выносить. На одной из станций, уже за Уралом, поезд стоял минут двадцать, видимо, расчищали от людей вокзал, мы начали стучать в двери теплушки, прибежали солдаты. В то время многие степняки-калмыки русского языка совсем не знали, а мы, донские калмыки, живя среди русских, говорили свободно. Объясняем:

— Человек умер, солдат, из армии вернулся...

— Какой он тебе солдат, бандит он, враг народа.

— У него награды есть, медали.

— Давай вытаскивай...

Вытащили и оставили тело рядом с вагоном. На улице был снегопад, и пока мы стояли, его уже полностью занесло снегом. В других эшелонах был специальный вагон для хранения трупов, а в нашем не было — трупы просто выбрасывали.

Когда выезжали, все были в страхе и растерянности: куда едем, почему и за что нас выселили? Но жизнь заставляла нас бороться с трудностями, и чем труднее и голоднее становилось, тем больше мы настраивались на борьбу с ними. В нашем вагоне не умер ни один ребенок, а в других вагонах дети умирали достаточно часто, хотя не знаю, может быть, у них условия были ещё хуже, чем у нас. Никаких туалетов в вагонах, естественно, не было: для детей ведро, а для взрослых пробита дырка в полу. Особенно стеснялись молодые снохи: согласно традициям, им много чего нельзя было делать, а тут — в туалет чуть ли не на глазах у всех. Верующие старухи, чтобы оправиться, во время остановки поезда лезли под вагон, и если тот трогался, то многие гибли под его колесами. Моя мама сильно плакала, когда погиб Пантелей, когда выгоняли из собственного дома, а потом стало не до слез, больше я никогда не видел плачущую мать. Женщины-калмычки в Сибири перестали плакать, ни у одной из них я уже слез не видел... Зато у нас в вагоне, несмотря на тяжелые условия, шутили, постоянно подначи-

вали молодых и старых, дружески посмеивались. И, оказывается, смех — это мощный фактор выживания.

Для охраны состава был выделен специальный вагон. Во время остановки поезда, один раз в сутки, закрепленные за вагоном охранники открывали двери, двоих забирали за продуктами, только в это время дверь была открыта. Кормили один раз в день, давали кашу и горячий суп — не суп, а вода. Сразу после приема пищи дверь опять закрывалась на сутки.

Наш эшелон шел почти месяц, в конце января он пришел в город Боготол Красноярского края. Нас сгрузили и разместили в трех школах, которые были на этот период закрыты. Наш вагон попал в одну школу, там мы прожили два дня, пока нас расписывали по колхозам. Воды в школе было много, в каждом классе стоял бак с водой, но, кроме этого, там больше ничего не было, классы были набиты людьми, и ни стула, ни лавок, даже просто досок, все лежали на полу вповалку.

Четыре семьи, в том числе и нашу, направили на поселение в колхоз «Ударный труд» Волынского сельсовета Боготольского района, девятнадцать человек. Из колхоза пригнали четверо саней, места для всех не хватило, поэтому самые крепкие женщины должны были бежать рядом с санями, а мороз стоял страшный. Так и бежали все 25–30 км до колхоза, а дальше за колхозом стоит тайга. Это был Тюхтецкий район Красноярского края.

В колхозе нам освободили половинку большого пятистенного дома, в котором было натоплено, и стояла бадья с водой, здесь мы наконец-то смогли более или менее отогреться. Руководила всем Хар Настя, женщина со станции Новониколаевской, мать шестерых детей — очень деятельная и умелая, ей уже было за пятьдесят лет. Она распорядилась разместить у печки семью Булгун, которая была со старой свекровью и четырьмя маленькими детьми, вывезли их практически голыми, ничего из теплых вещей ей взять с собой не удалось, муж её воевал, был лейтенантом.

Самыми страшными месяцами для нас были январь, февраль и март 1944 г. Первыми, в начале февраля, почти сразу, после того

как приехали, умерли двое младших детей Булгун, потом ее свекровь, а затем двое её старших детей. Умерли от голода и тяжелой дороги. В нашем селе жило около трети давно сосланных поселенцев, и две трети — старообрядцы, у последних зимой снега не выпросишь. Три хутора, один сельсовет. Из наших, кто на ногах, ходили по домам — просили и выменивали еду. Бывало по-разному: кто собак спустит, а кто и даст кусок хлеба или картошку. Мама все, что принесет, делила на троих, а Булгун надо было делить на шестерых, мне запомнилось, что как-то раз она принесла целое ведро картошки, за неё она отдала последнее, что у нее осталось, — серебряные серьги. А потом картошка кончилась, и её дети начали пухнуть от выпитой воды, особенно младшие — им было три и четыре годика. Наш Сережка тоже пухнул от голода, у него был огромный живот, и мама отдавала ему почти все, но у нас Сергей был один маленький, а у Булгун таких четверо. Так она что делала? Для того чтобы спасти старших детей, она не кормила младших, когда они умерли, перестала кормить бабку, а старшие все равно умерли в середине марта. Мать и Хар Настя говорят мне и Наде: «Идите и погребите их», а как хоронить, когда снег по пояс и земля — как камень? Взяли мы детей, отнесли их к речке и недалеко от тропинки положили в снег и снегом же присыпали. Когда умерла бабушка, отнести сил не было — отволокли за руки на то же место и также засыпали снегом.

Даже сейчас, шесть десятилетий спустя, как будто это было вчера, я помню, как наша мама делит единственный кусочек хлеба и картофелину между братиком и мной. А когда я спрашивал, ела ли она сама, она отвечала, что кушать не хочет. Много лет спустя, в конце пятидесятых, в память о тех страшных годах и лишениях я посвятил маме одно из первых своих стихотворений, которое так и назвал — «Мама».

*Есть ли дно у того родника,  
Где любовь ты черпаешь, мама?  
Ты ответь мне, когда и как  
Расплачусь за неё, мама!*

*Понял я, почему иногда  
Не хотела ты, мама, хлеба  
В дни, когда над нами нужда  
Нависала, как черное небо.  
И светились глаза одни  
На лице твоём исхудалом...  
Мама, мама!  
А я в те дни  
Несмышленным был мальчуганом...  
Есть ли дно у того родника,  
Где любовь ты черпаешь, мама?  
Ты скажи мне, когда и как  
Расплачусь за неё, мама!  
Лишь однажды, когда я сказал,  
Что окончил с медалью школу,  
Исстрадавшиеся глаза  
Засветились огнем веселым.  
И сказала ты: «Всё отдай,  
Что с рожденья дала тебе я,  
За народ, за родимый край,  
Даже жизни самой не жалея!»  
Есть ли дно у того родника,  
Где любовь ты черпаешь, мама?  
Ты скажи мне, когда и как  
Расплачусь за неё, мама!*

В конце февраля, где-то 25–28 числа, к нам в дом зашел председатель колхоза Мордвинов, участник войны, инвалид, и говорит:  
– Я слышал, что калмыки — животноводы хорошие. У нас от снега обвалилась крыша сарая, задавила овец. Надо снять шкуры и сдать для отчета. Из ваших кто-нибудь сможет?

Настя мне говорит: «Егор, ты иди. Ты уже мужчина. Как-нибудь сумеешь». Я ответил председателю:

— Я смогу.

— Ну, давай. Пошли.

Он отвез меня к кошаре. Одна сторона её обвалилась. В стороне лежали замерзшие трупы овец.

— Вот эти овцы, мерзлые. Голов 16–17, ободрать сможешь?

— Смогу.

— Вот там, где затишек, там сиди и обдирай.

В первый день я всю шкуру порезал, она была мерзлой, а когда рассказал Хар Насте, она говорит:

— Надо не так. Ты сначала разведи огонь, положи рядом овцу, дай ей оттаять, а потом потихоньку обдирай. Не бойся, все получится.

С первой овцы я шкуру снимал с утра до вечера, а когда принес эту мерзлую тушу вместе с внутренностями домой, наши все страшно обрадовались. Все оживились, засуетились, растопили плиту. Хар Настя умела всё, она сама разделала тушу, отделила внутренности — получилось два ведра мяса, ничего не пропало. Вообще-то раньше калмыки никогда не ели падаль, а эти овцы задохнулись. Но кто тогда на это смотрел, надо было выживать. Тем более на вид, запах и вкус это мясо было обычным. Когда его приготовили, все наелись так, как уже давно не ели, стало так хорошо... До сих пор помню вкус того мяса. Мясо и шулон делили на всех, хлеба не было, и ели без хлеба. За шестой овцой я уже пошел вместе с Надей, калмыцкое имя её было Няяка. Этот период был такой... сытый, пока мертвечину ели. А потом опять наступил голод. Но уже наступила весна, в апреле появились первые проталины, и на них мы собирали колоски. Я думаю, что если бы не падаль, то мы бы умерли все...

К тому моменту, когда у нас появилось мясо, у Булгун уже умерли младшие дети. А потом, несмотря на то, что оставшиеся стали питаться лучше, в начале марта умерла старая свекровь, а к середине месяца и старшие дети — видимо, их здоровье сильно подорвали дорога и голод. После того, как она похоронила последних детей, Булгун не плакала, слез у неё не было — она все время выла и кричала:

— Бадма, Бадма! Когда ты вернешься, что я тебе скажу? Детей твоих я не уберегла... Мать не уберегла...

Ночью она вышла во двор и повесилась. Всё. От семьи никого не осталось.

В селе, в котором мы жили, было дворов сорок пять—пятьдесят, одна улица вдоль речки, и, как я уже упомянул, в основном жили старообрядцы, из них половина — Сорокины. Нашими соседями была большая старообрядческая семья Сорокиных, один из детей был моим сверстником, его звали Колей, был немного побольше и покрепче меня. Туалетов в то время не было, захотел на двор — ночью выходишь за дом и садишься, где тебе нравится. Так вот, он меня постоянно подстерегал и говорил:

— Егор, тащи багор! Сколько ты уже дохлятины съел?

Как-то раз ночью выхожу на двор, ночь лунная — светло. Рядом с домами сидит Николай, я поднял камень, подкрался сзади и ударил его по голове. Он упал как подкошенный, а я убежал. С нами никто разбираться не захотел, родители сразу пожаловались в комендатуру. Приехал комендант Варзаев, высокий еврей, я его запомнил на всю жизнь. Меня вызвали в контору. Когда я зашел в комнату, там уже сидели Сорокины, комендант и Николай с перевязанной головой. Комендант говорит:

— Ну, давай, рассказывай. Почему ты чуть человека не убил? За что ты его ударил?

Я рассказал все, как есть: семья вымирает, председатель колхоза дал задание ободрать павших овец, шкуры сдаю, а мясо это варим и едим, а вот он постоянно надо мной издевается. Ну, я его подкараулил и ударил.

А комендант говорит:

— Молодец! Вот так действуй и дальше. Если будут над тобой издеваться — бей.

Вот это комендант! А потом он обратился к Сорокиным:

— Как же вы так могли? Слышали ведь, что рядом с вами люди от голода подыхают. Вы, если не хотите помочь, хотя бы жить не мешайте. Зачем оскорблять мальчика?

На следующий день все в селе узнали, что власть за меня заступилась. А издевались над нами так и гнали прочь из-за того, что ещё до нашего приезда был распушен слух, что везут врагов народа и людоедов. Сибиряки — народ простой, поверили. Потом, конечно, поняли, что мы такие же люди: так же плачем, так же смеемся, любим — в общем, ничем от них не отличаемся.

Когда пришла весна и нас стали привлекать на работы, мы с Николаем стали вместе работать на посевной, сенокосе и других работах, постепенно стали хорошими друзьями. Он вообще-то был неплохим парнем, когда на работах подходило время обеда, он меня всегда угощал: у него всегда было с собой полбуханки хлеба, два-три вареных яйца, сало. Он звал: «Егор, иди сюда! Давай поедем...».

Наступила осень. Жизнь стала налаживаться, работая в колхозе, мы уже заработали трудовни, получили аванс — ну, думаем, заживем. И тут нас неожиданно опять собрали в Боготоле. Всех калмыков, расселенных по Боготольскому району, набрали восемь вагонов и отправили в г. Канск, где не хватало рабочих рук. В то время в Канске было два больших лагеря: Краслаг и Енисейлаг, в них находились заключенные, которые строили Канский гидролизный завод. После того, как строительство было закончено, этих заключенных куда-то перевезли, а на их место, в бараки, поселили 1 500 калмыков. Нары там были не двухъярусные, как показывают в кино, а обычные сбитые доски, вокруг лагеря вышки и ограда из колючей проволоки, только охраны нет. Зимой досками, оставшимися от ограды и вышек, мы топили в бараках.

Так я попал на Канский лесозавод. Калмыков распределили по цехам: распиловочный, разделочный, трелёвочный, сушилку. Меня направили в ДОЦ — деревообрабатывающий цех, в этом цеху делали подушки для снарядов, мин и бомб. Все бригадиры, звеньевые и сменные мастера были местными, а всю черную работу делали калмыки от 12 лет и старше, почти все они не знали русского языка или знали очень плохо. Меня поставили на погрузку грузчиком. То, что я хорошо знал русский язык, очень помогало мне и моим землякам в общении с руководством.

В 1959 г., в начале своего творческого пути, я написал стихотворение, которое посвятил своим ровесникам тех военных лет.

*Я в Канске жил,  
я не спокойно рос —  
с такой, как сам я, мелюзгою рядом  
грузил в сорокаградусный мороз  
тяжелые подушки для снарядов.  
Нас было много в злую ту войну,  
голодных, голых и вихроволосых,  
похожих на бездомную шпану,  
которая ночует по откосам.  
Сжав крепко зубы,  
силясь горячо,  
старались мы, ослабшие до стоны,  
побольше взять на детское плечо  
и погрузить огромные вагоны.  
Война — всегда  
всеобщая беда,  
великое народное страданье.  
Ты научила сильным быть тогда  
и жить порой одним вторым дыханьем.  
Я не боялся плеч перегрузить —  
и от такой неимоверной муки  
я не удался ростом, может быть,  
и, может быть, длинней, чем надо,  
руки.  
Я песни пел —  
они срывались в крик  
и до сих пор летят  
над страшным веком...  
Я в Канске жил,  
трагедию постиг —  
и стал я называться  
ЧЕЛОВЕКОМ!*

На заводе тоже много народу погибло... Одна местная девушка работала станочницей по распиловке заготовок под снарядные подушки, станки были с циркулярными пилами, под ними постоянно накапливались опилки, и для их уборки на каждые два станка прикреплялась девочка-подметальщица. Когда накопилось много опилок, станочница сказала девушке их убрать, выключила станок и ушла. Девочка была калмычкой, залезла под станок, старается, убирает. В это время пришла станочница, видит — никого нет, рядом лежит куча опилок, ну и включила станок. А девочка услышала, что станок заработал, и подняла голову, и ей одним махом развалило голову пополам. Когда хлынула кровь, станочница с криком убежала, она тоже была очень молодой, а девочка руками голову обхватила и ещё пробежала метров двадцать, потом упала и умерла.

Ещё был такой случай. На пилораму бревна подавались на транспортере, а для того, чтобы оно не виляло и ровно распиливалось, его поддерживал человек с помощью двух крючьев. Улюмджи стоял последним перед пилорамой, и, когда он стал «закрючевать» бревно, крючок зацепил его за одежду, и его затянуло в пилораму. Его распилило так, что от него практически ничего не осталось.

Был ещё такой случай, вместе со мной на погрузке работал подросток Лялин Пантелей. Работа была тяжелой — мы грузили тёс, тяжелые подушки для снарядов. Жил он с мачехой, она сама отоваривала его хлебные карточки, в то время давали: 600 гр. хлеба в день рабочему, 250 гр. детям, 200 гр. — иждивенцам. Мачеха давала ему только половину его пайка. Как-то раз он начал жаловаться, что у него болит живот. Выяснилось, что он третий день не какает. Тогда говорили, что когда человек не испражняется, то ему, оказывается, не хочется кушать — вот он сам себя и ограничивал. А может быть, у него болезнь какая-то была, в общем, умер он неожиданно. А какой красавец был...

Идут годы, и в последнее время я стал чаще видеть во сне своих друзей, погибших в Сибири. Был у меня друг Казанкин Пан-

телей, от недоедания и переохлаждения у него начался туберкулез костей, у него гнили кости. Он умирал в полном сознании. Боли были страшные. Ох, как же он плакал... Он кричал: «Я жить хочу!». Ему было 17 лет.

Калмыков в Канске называли налимками. Местные калмыка увидят, смеются — налим идет. А молодежь, она везде молодежь. Если они одного-двух наших калмыков поймают, отлупят. Если мы поймаем кого-то из своих обидчиков, то тоже побьём. Так и жили, первые два года постоянно дрались. Мне в 1945 году в драке даже голову пробили проволокой. Потом притерлись и драться почти перестали. Надо сказать, что в драках национальный мотив отсутствовал, просто хулиганство, свои – чужие. А вот в общении мне как ссыльному постоянно приходилось чувствовать свою неполноценность. Мы работали вместе, русские и калмыки. И если, допустим, я дружил с русским, то меня он не задевал, но любого другого калмыка мог запросто обидеть — только за то, что он враг народа, калмык, и ничего ему за это не было.

Комендант Мишков, который осуществлял за нами надзор, был сволочью из сволочей, постоянно издевался над калмыками. Был он небольшого роста, сухонький, но пил страшно — был настоящим алкоголиком. Все калмыки были разбиты на десятидворки, то есть по десять семей, среди них назначали старшего, который должен был отчитываться отдельно по своей десятке. Это кроме того, что в первые полгода мы ходили и расписывались в комендатуре дважды в месяц, затем один раз в месяц до самой смерти Сталина, потом расписываться перестали.

Что удивительно, так это то, что как бы трудно ни было, несмотря на голод, тяжкий физический труд, мы находили в себе силы собираться на праздники вечерами, танцевали, пели калмыцкие песни. Из русских песен пели в основном «Катюшу», её тогда по всей стране пели. Между собой разговаривали только на калмыцком. Жили калмыки двумя большими группами: те, кто работал на гидролизном заводе, жили в Канском соцгородке, а те, кто работал на лесозаводе, — в бараках Краслага. У нас был такой возраст, что

все было нипочем, мы влюблялись и любили, ходили на танцы, правда, только в свой заводской клуб.

Советские праздники мы отмечали, как все вокруг, а калмыцкие — Зул, Цаган сар, Ур сар — отмечали украдкой, в основном старики, и молились украдкой, потому что могли предать свои. В 1949 году<sup>1</sup> вышел страшный указ, смысл которого был в том, что если ты выявишь врага народа, а к ним относились все те, кто плохо отзывался о Сталине, советской власти и т. п., то этого человека сажали на 20 лет, без суда и следствия, а доносчику комендант оформлял справку на получение 10 килограммов муки. Из Широ-клага — это лагерь, в котором содержали калмыков, воевавших на фронтах войны — они строили ГЭС, вернулся Бембя, весельчак и балагур, вернулся очень больным, но жена постаралась и выходила мужа. Он стал работать вместе с нами грузчиком, постоянно шутил и говорил прибаутками, но по-русски говорил очень плохо. На него написали донос, за ним пришли прямо на работу во время обеда, увели — так он и пропал. Жена его заболела, в это время она была беременной и без того часто болела, слегла и умерла, а следом умерли их двое детишек. А человек, который написал на него донос, получил 10 кг муки.

Конец 44-го и начало 45 г. для нас, калмыков, живущих в Канске, складывались тяжело, было очень голодно, зарплату задерживали уже больше трех месяцев, пайки были небольшими, особенно у иждивенцев. В январе 1945 г., калмыки опять стали умирать от недоедания — не было сопротивляемости болезням. Мы с мамой тогда жили в соцгородке, в одной комнате нас жило четыре семьи. Как-то в январе наши старики беседовали между собой, как всегда, и так получилось, что я был дома и слышал все, о чем они между собой говорили. Был среди них один дед, звали его Каару, фамилию его я сейчас не помню, а умер он в том же году, летом. Он пользовался большим уважением у пожилых калмыков. После длинных разговоров, в которых старики сетовали на тяжелые условия жизни и начавшийся голод, он сказал: «Если бы среди нас

<sup>1</sup> Так в воспоминаниях.

были люди, которые достаточно хорошо знали бы русский язык, то его можно было бы послать к начальству, чтобы попросить помощи. Не может быть, чтобы нам не помогли, мы же у них на глазах умираем...». Мне в декабре 1944 г. исполнилось 15 лет, но я уже два года работал как взрослый, без всяких скидок на возраст, и я влез в разговор стариков и предложил им: «Я хорошо знаю русский язык. Давайте я попробую написать письмо. Вы говорите, что надо писать на калмыцком, а я переведу и напишу письмо директору завода». Так и сделали. В письме директору Канского гидролизного завода мы написали все, как есть: зарплаты нет три месяца, умирают дети и старики и т. д., все расписались, и я передал письмо начальнику угольного цеха Алексею Заборину, с которым я работал грузчиком уже четыре месяца, а уже он передал его руководству завода. Некоторое время спустя, по распоряжению начальника завода Черепанова, всем калмыкам, работающим на заводе, а также на каждого члена их семей, было выдано по 10 килограммов картошки, — многим эта своевременная помощь помогла выжить.

После победы стало немного легче жить, но на нас стали давить государственные займы, которые были призваны укрепить оборону страны. Зарплата и так была мизерной, но все должны были их покупать, причем за них деньги удерживали прямо в кассе. Следил за этим секретарь партийной организации, и не дай бог было выразить этим своё неудовольствие... После войны мы уже могли свободно ходить на базар, украдкой могли сходить в соседнее село, выменять каких-нибудь продуктов, в основном картошку. Основной нашей пищей был картофель. Это второй хлеб. Только за счет него мы и жили. Мяса мы не видели, вплоть до 50-х гг., ели картошку, брюкву, капусту, свеклу. Мама на Цаган сар обязательно делала борщики, калмыцкий чай, иногда мясной суп, но это было уже незадолго перед отъездом. Года два-три нам вместо масла выдавали рыбий жир, на нем готовилось всё: картошка, борщики... Многие его до сих пор на дух не переносят.

Когда умер Сталин, многие из наших плакали, я плакал по-настоящему. В то время пропаганда была на высоте, мы все вери-

ли Сталину, многие из нас считали, что ссылка нашего народа — это какая-то чудовищная ошибка, что Сталин разберется, накажет виноватых, а нас вернет на родину. И вот теперь, со смертью Сталина, все рухнуло, никто нас теперь никуда не вернет...

Когда в том же году был арестован Берия, мы почувствовали значительную перемену, участники войны получили право свободно переезжать к своим родственникам в другой район или даже край. А потом мы по центральному радио услышали, как поет наша певица Улан Барбаевна, мы заплакали. Тарелки-репродукторы тогда были не у каждого, у меня такая тарелка была — у нас дома набилась целая толпа. Улан Барбаевна пела — сначала «Кему», а потом «Одинокое дерево у брода», мы все как начали плакать и ревели, как дети. Тогда я понял, что от радости тоже можно умереть.

Когда нам разрешили вернуться на родину, тем, на кого пришел вызов, выдавались подъёмные. Нашей семье подъемных денег никто не давал, и ехать домой нам было не на что, и таких, как мы, было много. В это время в Канск приехала бригада из Бурятии и начала нас агитировать: приезжайте в наш колхоз, дадим вам работу, дом, скотину, на первое время хлеба. Так три семьи, в том числе и наша, оказались в Бурятии, в колхозе «Хар шибир». Директором колхоза Мажиев Бальджинимя Мажиевич, Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета уже в четвертом созыве, числился старейшиной Верховного Совета СССР. Колхоз был богатейший: построил целую улицу из пятидесяти домов, по договору привезли и заселили калмыками, каждой семье дали корову, двух поросят и 300 кг муки. Создали очень хорошие условия — только живи и работай. Первое время я работал слесарем в колхозном гараже, потом мельником, а весной, когда началась посевная, работал в поле. Летом во время уборочной страды работал штурвальным, когда на четвертый день уборочной комбайнер заболел, и меня спросили, сумею ли я управлять комбайном, я ответил, что смогу, и встал к штурвалу комбайна. Я очень старался и, несмотря на то, что мой комбайн несколько раз ломался, меня несколько раз премировали,

и я заработал хорошие деньги. Когда я получил эти деньги, я понял, что мы можем вернуться домой.

Я написал заявление на имя директора колхоза об увольнении в связи с выездом на родину. В тот же день меня вызвал Мажиев, и у меня с ним состоялся очень длинный разговор:

— Может быть, передумаешь, Егор? Ты же посмотри, какие мы для вас условия создали, все есть: дом, хозяйство, работа. Тебя здесь все уважают. Где вас ещё так примут?

— Спасибо, Бальджиния Мажиевич, за все, что вы для нас сделали, но вы тоже меня поймите: дом есть дом, я хочу вернуться домой, на родину.

— Да погоди ты домой. Я тебе здесь такое будущее устрою — направлю в Улан-Удэ в сельскохозяйственный институт, стипендию будем от колхоза платить, а когда вернешься с высшим образованием — большим человеком станешь.

— Спасибо, конечно, но я хочу домой...

Долго он ещё меня уговаривал, потому что прекрасно понимал, что я являюсь «первой ласточкой», что за мной потянутся и другие мои земляки, и в конце сказал:

— Ну ладно, заявление я твое получил, но сам уволить тебя я не могу. Ты член колхоза, и поэтому уволить тебя может только общее собрание колхозников. Через три дня состоится отчетно-перевыборное собрание колхоза, вот там и решат — отпускать тебя или нет.

В актовом зале колхозного клуба собралось человек двести пятьдесят – триста, на повестке дня два вопроса: отчет председателя колхоза «Хар шибир» за истекший 1957 г. и выдвижение кандидата в депутаты Верховного совета СССР. По первому вопросу выступал сам Мажиев, долго рассказывал, сколько и какого урожая собрали, сколько зерна сдали в закрома Родины, сколько вырастили скота, что построили, сказал о привлечении новых колхозников, имел в виду калмыцкие семьи, приехавшие в колхоз. В конце своего выступления, он добавил:

— Ну а теперь, товарищи колхозники, нам надо рассмотреть заявление о выходе из колхоза Буджалова Егора. Перед тем как

проголосовать, хочу сказать, что работник он хороший, грамотный, руководство колхоза планирует направить его на учебу в институт. А теперь давайте проголосуем, кто за то, чтобы оставить Буджалова в колхозе? Я — «за».

И первым поднял руку. В зале тут же поднялся лес рук.

— Кто «против»?

— Поднял руку один я.

— Ну что ж, Егор. Собрание решило оставить тебя в колхозе, ничего не поделаешь — так решил коллектив.

Я поднялся, возмущению моему не было предела: если бы он дал мне перед голосованием слово или хотя бы первым не поднял руку, люди бы, может быть, ещё и подумали, а так он не оставил им выбора.

— Как же так, Бальджинимя Мажиевич!? Вы же прекрасно знаете, что есть Постановление Верховного Совета СССР, которое разрешает нам вернуться на родину, больше того — вы сами принимали участие в подготовке этого Постановления! Вы не имеете права задерживать меня здесь, без моего согласия!

Он развел руками: «Собрание решило». И перешли ко второму вопросу. Поднялся представитель райкома партии, который специально приехал на это собрание, и тоже начал длинную речь про то, что Мажиев Бальджинимя Мажиевич уже давно, очень мудро и хорошо руководит лучшим колхозом Бурятии, что он уже четыре созыва является депутатом Верховного Совета СССР, членом Совета старейшин, что колхоз из года в год перевыполняет планы, что стоимость трудодня в колхозе составляет 25–26 рублей, когда в других хозяйствах выплачивают только 2–3 рубля за трудодень, и дальше — в том же духе. В конце речи он говорит:

— Кто за то, чтобы выдвинуть Мажиева Бальджинимя Мажиевича кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР на пятый срок? Прошу поднять руки.

Поднялся лес рук. Чисто для проформы он спросил: «Кто против»? Я поднял руку, и он сказал: «Против — один».

— Кто-о-о!?! — председатель колхоза вскочил и повернулся к залу, он сидел в первом ряду, спиной к залу, и увидел меня. «Зайдешь ко мне после собрания», — буркнул он и сел.

После собрания я зашел к нему в кабинет. За год работы я уже знал, что Мажиев провинившихся наказывает сам, за все годы войны не было ни одного случая, которым бы занимался особый отдел или милиция, своих он не сдавал. Наказывал он своеобразно: первым делом закрывал дверь в кабинет на ключ, потом снимал со стены плетку и, в зависимости от тяжести проступка, избивал виноватого, после этого брал с него слово, что подобное больше не повторится. И, знаете, не повторялось!

Пока он разбирался с документами, я сидел на стуле и думал: закроет дверь на ключ или нет. Не закрыл. Ну, думаю, пронесло. Мажиев поднял голову и сказал:

— А-а... пришел.... Ну что ж, Егор. Завтра в 6 утра машина пойдет в Могойтуй, забросит вас на станцию. Но имей в виду, что уехать сможешь только после того, как сдашь все под расписку: дом, корову, поросят, продукты, которые брал в колхозе. Если чего-то не хватает, с тебя вычтут, ну а там, если деньги останутся, езжай...

Я поблагодарил его и побежал домой собираться...

\*\*\*

Рассказ получился очень длинным и долгим, начался с довоенного периода — об отце, а потом плавно перетек в воспоминания о выживании во время высылки в Сибирь, но Ода Израилевна выслушала меня очень внимательно, почти не перебивая, и сразу же предложила идти к ректору. На следующий день, утром, мы были приняты ректором нашего института Серебряковым. Ода Израилевна коротко доложила ему о причине визита, а я показал ему отцовское письмо, в этот момент я очень переживал, что меня отчислят из института. «А как он учится?», — спросил ректор. Ответили: «Хорошо учится». Серебряков внимательно прочитал письмо и попросил меня вкратце рассказать, как мой отец оказался за границей.

Я готовился к встрече с ректором, поэтому рассказ мой был лаконичен. Я рассказал, что мой отец участвовал в войне 1914 г.,

попал в плен к немцам, сидел в лагере военнопленных. Там его передали богатому немцу на сельхозработы. Работал отец хорошо, поэтому был оставлен на ферме, на постоянной работе. За семь лет, которые он там провел, он научился немецкому разговорному языку, читать и писать не умел. В 1921 г. был репатриирован в Россию. В 1942 г. наша станица была в течение шести месяцев оккупирована немцами. Староста станицы Калашников взял отца к себе кучером и переводчиком, а в декабре 1942 г., уходя с немцами на запад, вынудил отца ехать вместе с ним. Так мой отец оказался за границей. До 1952 г., он проживал в лагере для депортированных калмыков под Мюнхеном, а затем, при помощи Толстовского фонда, переехал жить в США, в город Филадельфию, где и проживает по настоящее время. Гражданство свое не менял. Желает вернуться на родину.

Ректор внимательно меня выслушал и спросил:

— Сколько лет тебе было тогда?

— Тринадцать.

— Попал под выселение?

— Да, 28 декабря 1943 г.

— Декабрист, значит... Ладно. Всему виной война. А ты учись, мы тебе поможем. Переписываться с отцом или не переписываться — это твое личное дело. Можешь идти.

Я поблагодарил и вышел...

### Комментарии

Приведенное выше интервью отражает многие стороны интеллектуальной биографии поколения, которое родилось в Калмыкии, росло в Сибири, получало образование в Москве и Ленинграде и вернулось на родину — создавать калмыцкую культуру. Вопросы, которые ставили себе и педагогам думающие студенты, каким был Егор Буджалов, отражают эпоху оттепели, которую на своем примере почувствовали калмыцкие студенты, оказавшись после сибирских морозов в одном из лучших театральных вузов страны.

Литература и театр социалистического реализма вывели этот художественный стиль за рамки подмоетков, и для многих вчерашних спецпереселенцев, наконец оказавшихся в благоприятных социальных условиях, а это были условия конфирмативных акций для несправедливо репрессированных народов, — социалистический реализм стал жизненной моделью. Об этом говорят и социальный оптимизм (вера в светлое будущее — личное, для калмыцкого народа и всего СССР, как и всего человечества), и искренность, и доверие, с которыми Егор делится открывшимся фактом о проживании родного отца в США в первую очередь с педагогами.

Интересно, как мудрый педагог отвечал на вопрос об ответственности сына за отца, который невольно должен был уйти вслед за отступающими оккупантами: всему виной война. Этой фразой ректор института, олицетворяющий своим авторитетом для студента русский народ и саму власть, снимает чувство вины с человека, который в годы войны был ребенком.

Е. А. Буджалов, повествуя, насколько пагубно было кормить людей соленой сельдью в «эшелонах бесправия», упоминает, что так же селедкой пытали молодых калмыцких партизан немецкие оккупанты. Это практически гроссмановское сравнение двух бесчеловечных режимов на вполне конкретных примерах. Кстати, селедка, которую давали «списанным» в 1945 г. узникам Широкагла как единственный продукт по дороге в Сибирь, также часто помнится свидетелям как виновница дизентерии, которая часто вела к смерти.

Рассказчик упоминает произведения своих старших коллег о Сибири и в первую очередь поэму К. Эрендженова «Мой старый тополь под окном». Это были первые стихи на актуальную тему калмыцкого поэта, прошедшего Колыму, которые были переведены и опубликованы. Видимо, именно факт публикации так впечатлил студента Буджалова, потому что в тексте поэмы нет прямых свидетельств эпохи — в ней говорится о возвращении на родину и вынужденной разлуке с любимой девушкой, которая не дождалась лирического героя. О Сибири ли это, о колымских лагерях или о

годах студенчества или службы в армии — читатель догадывается сам.

Но уже через полгода свет увидела поэма Давида Кугультинова «От правды я не отрекался», в которой репрессированный статус народа был сформулирован эмоционально насыщенно и исторически верно, но внешние обстоятельства были описаны метафорически:

*В то время  
гнев несправедливый, дикий  
Нас подавил...  
И свет для нас потух.  
И даже слово самоё — «калмыки»  
произносить боялись люди вслух.  
Тогда, словами рифмы закрепляя,  
я для друзей писал, я утешал  
тех, кто был изгнан из родного края... [Кугультинов 1987: 64]*

Для того чтобы прозвучали слова о стигматизированной идентичности, которую кто-то отвергает, а кто-то — нет: «Под именем казаха иль бурята не прятался: я был и есть калмык!» [Кугультинов 1987: 64], видимо, была нужна публикация о старом тополе как знак, что уже можно об этом времени говорить публично. Но и после оттепели, как рассказал нам Е. А. Буджалов, он давал подписку не пропускать материалы в печать, если они связаны с двумя темами: с калмыцкими корнями В. И. Ленина и с депортацией калмыков.

Период оккупации начинается рассказом о гибели брата Пантелея. Война — это смерть, утверждает рассказчик. И для читателей важны сюжеты об оккупации территории Калмыцкого района Ростовской области, о том, как непросто было жить в те полгода «нового порядка».

Важны проницательные замечания Е. А. Буджалова о сломе патриархатного гендерного порядка, о том, как в отсутствии мужчин за продуктами для всего вагона ходили девушки. Если в класси-

ческом патриархатном дискурсе женщины всегда избыточно эмоциональны, в трудные минуты рыдают, то в нарративе Е. А. Буджалова мы видим, как исполнение мужских ролей добытчика и защитника семьи меняют женщин, и они подобно мужчинам забывают о самой возможности плакать: «Моя мама сильно плакала, когда погиб Пантелей, когда выгоняли из собственного дома, а потом стало не до слез, больше я никогда не видел плачущую мать. Женщины-калмычки в Сибири перестали плакать, ни у одной из них я уже слез не видел».

Кризисная еда — то, что в обычной жизни едой не считается, но в кризисной ситуации идет в пищу. В повествовании Е. А. Буджалова кризисной едой выступает падаль, на которую в благополучные времена у калмыков было табу. Это красноречивый пример, как меняются культурные границы в зависимости от ситуации, давая возможность людям выживать.

В нарративе Буджалова убедителен язык травмы: сюжеты, связанные со смертью, самоубийством, инвалидностью, несчастные случаи — ими полон текст.

В современных социальных сетях каждый год в день начала операции «Улусы» многие жители республики размещают посты, в которых негодуют о тринадцати годах унижений, и видят их не иначе, как в черном цвете. Сами свидетели событий, как мы видим и в этом случае, даже упоминая смерти и невзгоды, рассказывают о той жизни разными цветами. Это была трудная, тяжелая жизнь, которую можно было прожить достойно, как и рассказал о ней Е. А. Буджалов.

### Литература

- Бугай 1991 — *Бугай Н. Ф.* Операция «Улусы». Элиста: Рес. центр развития калм. культуры, науки и просвещения им. Зая-пандиты, 1991. 87 с.
- Гучинова 2005 — *Гучинова Э.-Б. М.* У каждого своя Сибирь. Два рассказа о депортации калмыков // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 400–442.

- Гучинова 2008 — *Гучинова Э.-Б. М. У каждого своя Сибирь. Жизнь калмыков в Средней Азии // Диаспоры. 2008. № 1. С. 194–220.*
- Гучинова 2019 — *Гучинова Э. М. У каждого своя Сибирь. Две истории о депортации калмыков (интервью с С. М. Ивановым и С. Э. Нарановой) // Oriental Studies. 2019. № 43(3). С. 397–422. <https://doi.org/10.22162/2619-0990-2019-43-3-397-422>*
- Кугультинов 1987 — *Кугультинов Д. Н. От правды я не отрекался: Стихи. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1987. 30 с.*
- Мещеркина 2004 — *Устная история и биография: женский взгляд. Под ред. Е. Ю. Мещеркиной. М.: Невский простор, 2004. 269 с.*
- Ссылка 1993 — *Ссылка калмыков: как это было. Книга памяти ссылки калмыцкого народа. Т. 1. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1993. 262 с.*
- Цветаева 1994 — *Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. Том 1. Стихотворения. М.: Элис Лак, 1994. 640 с.*